

КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

61

**Издательство «Континент»
1989**

НА СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ*

Страницу и огонь, зерно и жернова.
секиры острое и усеченный волос –
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
поскольку жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.

1989

ПАМЯТИ ОТЦА: АВСТРАЛИЯ

Ты ожил, снилось мне, и уехал
в Австралию. Голос с трехкратным эхом
окликал и жаловался на климат
и обои: квартиру никак не снимут,
жалко, не в центре, а около океана,
третий этаж без лифта, зато есть ванна,
пухнут ноги, «А тапочки я оставил» –
прозвучавшее внятно и деловито.
И внезапно в трубке завыло «Аделаида! Аделаида!»
загремело, захлопало, точно ставень
бился о стенку, готовый сорваться с петель.

* Первый вариант этого стихотворения, без заглавия и с некоторыми разночтениями, напечатан в «Литературной газете». – Р е д.

Все-таки это лучше, чем мягкий пепел
крематория в банке, ее залога –
эти обрывки голоса, монолога
и попытки прикинуться нелюдимом

в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом.

1989

* * *

*

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к
финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-
химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь
сплошной
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела,
глумлива?
ибо время, столкнувшись с памятью, узнает
о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

ЭЛЕГИЯ

Постоянство суть эволюция принципа помещенья
в сторону мысли. Продолженье квадрата или
параллелепипеда средствами, как сказал бы
тот же Клаузевиц, голоса или извилин.
О, сжавшаяся до размеров клетки
мозга комната с абажуром,
шкаф типа «гей славяне», четыре стула,
козетка, кровать, туалетный столик
с лекарствами, расставленными наподобье
кремля или, лучше сказать, нью-йорка.
Умереть, бросить семью, уехать,
сменить полушарие, дать вписать
другие овалы в четырехугольник
– тем громче пыльное помещенье
настаивает на факте существованья,
требуя ежедневных жертв от новой
местности, мебели, от силуэта в желтом
платье; в итоге – от самого себя.
Пауку – одно удовольствие заштриховывать мятый угол.
Эволюция не приспособленье вида
к незнакомой среде, но победа воспоминаний
над действительностью. Зависть ихтиозавтра
к амебе. Расхлябанный позвоночник
поезда, громахающий в темноте

мимо плотно замкнутых на ночь створок
деревянных раковин с их бесхребетным, влажным,
жемчужину прячущим содержимым.

1988

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

...погонщик возник неизвестно откуда.

В пустыне, подобранной небом для чуда
по принципу сходства, случившись ночлегом,
они жгли костер. В заматаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительный навык
свеченья – не только в державе чернявых,
сейчас, – но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде.

25-е дек. 1988

ЛАНДСВЕР КАНАЛ, БЕРЛИН

Канал, в котором утопили Розу
Л., как погашенную папиросу,
практически почти зарос.
С тех пор осыпалось так много роз,
что нелегко ошеломить туриста.
Стена – бетонная предтеча Кристо –
бежит из города к теленку и корове
через поля отмытой цвета крови;

дымит сигарой предприятие.
И чужестранец задирает платье
туземной женщине – не как Завоеватель,
а как придирчивый ваятель,
готовящийся обнажить
ту статую, которой дольше жить,
чем отражению в канале,
в котором Розу доканали.

1989

* *
*

Сюзанне Мартин

Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне
«Яникулум» новое кодро болтает на прежней фене.
Тая в стакане, лед позволяет дважды
вступить в ту же самую воду, не утоляя жажды.

Восемь лет пронеслось. Вспыхивали, затухали
войны, рушились семьи, в газетах мелькали хари,
падали аэропланы, и диктор вздыхал «о Боже».
Белье еще можно выстирать, но не разгладить кожи

даже пылкой ладонью. Солнце над зимним Римом
борется врукопашную с сизым дымом;
пахнет жженым листом, и блещет фонтан, как орден,
выданный за бесцельность выстрелу пушки в полдень.

Вещи затвердевают, чтоб в памяти их не сдвинуть
с места; но в перспективе возникнуть трудней, чем
сгинуть
в ней, выходящей из города, переходящей в годы
в погоне за чистым временем, без счастья и терракоты.

Жизнь без нас, дорогая, мыслима – для чего и существуют пейзажи: бар, холмы, кучевое облако в чистом небе над полем того сраженья, где статуи стынут, празднуя победу телосложенья.

18. 1. 1989

FIN DE SIÈCLE

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее – влиянье небытия

на бытие. Охотника, так сказать, на дичь –
будь то сердечная мышца или кирпич.
Мы слышим, как свищет бич,

пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,
барахтаясь в скользких руках лепил.
Мир больше не тот, что был

прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот,
кушетка и комбинация, соль острот.
Кто думал, что их сотрет,

как резинкой с бумаги усилья карандаша,
время? Никто, ни одна душа.
Однако время, шурша,

сделало именно это. Поди его упрекни.
Теперь повсюду антенны, подростки, пни
вместо деревьев. Ни

в кафе не встретить сподвижника, раздавленного
судьбой,
ни в баре уставшего пробовать возвыситься над собой
ангела в голубой

юбке и кофточке. Всюду полно людей,
стоящих то плотной толпой, то в виде очередей;
тиран уже не злодей,

но посредственность. Также автомобиль
больше не роскошь, но способ выбить пыль
из улицы, где костыль

инвалида, поди, навсегда умолк;
и ребенок считает, что серый волк
страшней, чем пехотный полк.

И как-то тянет все чаще прикладывать носовой
к органу зрения, занятому листвой,
принимая на свой

счет возникающий в ней пробел,
глаголы в прошедшем времени, букву «л»,
арию, что пропел

голос кукушки. Теперь он звучит грубей,
чем тот же Каварадосси – примерно как «хоть убей»
или «больше не пей» –

и рука выпускает пустой графин.
Однако в дверях не священник и не раввин,
но эра по кличке фин-

де-сьекль. Модно все черное: сорочка, чулки, белье.
Когда в результате вы это все с нее
стаскиваете, жильё

озаряется светом примерно в тридцать ватт,
но с уст вместо радостного «виват!»
срывается «виноват».

Новые времена! Печальные времена!
Вещи в витринах, носящие собственные имена,
делятся ими на

те, которыми вы в состоянии пользоваться, и те,
которые, по собственной темноте,
вы приравниваете к мечте

человечества – в сущности, от него
другого ждать не приходится – о нео-
душевленности холуя и о

вообще анонимности. Это, увы, итог
размножения, чей исток
не брюки и не Восток,

но электричество. Век на исходе. Бег
времени требует жертвы, развалины. Баальбек
его не устраивает; человек

тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс
воспоминания. Таков аппетит и вкус
времени. Не тороплюсь,

но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из
прошлого, если таков каприз
времени, сверху вниз

смотрящего – или через плечо –
на свою добычу, на то, что еще
шевелится и горячо

наощупь. Я готов, чтоб меня песком
занесло и чтоб на меня пешком
путешествующий глазком

объектива не посмотрел и не
исполнился сильных чувств. По мне,
движущееся вовне

время не стоит внимания. Движущееся назад
стоит, или стоит, как иной фасад,
смахивая то на сад,

то на партию в шахматы. Век был, в конце концов,
неплох. Разве что мертвецов
в избытке – но и жильцов,

включая автора данных строк,
тоже хоть отбавляй, и впрок
впору, давая срок,

мариновать или сбивать их в сыр
в камерной версии черных дыр,
в космосе. Либо – самый мир

сфотографировать и размножить – шесть
на девять, что исключает лезть –
чтоб им после не лезть

впопыхах друг на дружку, как штабель дров.
Под аккомпанемент авиакатастроф,
век кончается. Проф.

бубнит, тыча пальцем вверх, о слоях земной
атмосферы, что объясняет зной,
а не как из одной

точки попасть туда, где к составу туч
примешиваются наши «спаси», «не мучь»,
«прости», вынуждая луч

разменивать его золото на серебро.
Но век, собирая свое добро,
расценивает как ретро

и это. На полюсе лает лайка и реет флаг.
На западе глядят на Восток в кулак,
видят забор, барак,

в котором царит оживление. Вспугнуты лесом рук,
птицы вспархивают и летят на юг,
где есть арык, урюк,

пальма, тюрбаны, и где-то звучит там-там.
Но, присматриваясь к чужим чертам,
ясно, что там и там

главное сходство между простым пятном
и, скажем, классическим полотном
в том, что вы их в одном

экземпляре не встретите. Природа, как бард вчера –
копирку, как мысль чела –
букву, как рой – пчела,

искренне ценит принцип массовости, тираж,
страшась исключительности, пропаж
энергии, лучший страж

каковой есть распущенность. Пространство заселено.
Трению времени о него вольно
усиливаться сколько влезет. Но

ваше веко смыкается. Только одни моря
невозмутимо синеют, издали говоря
то слово «заря», то – «зря».

И, услышавши это, хочется бросить рыть
землю, сесть на пароход и плыть,
и плыть – не с целью открыть

остров или растенье, прелесть иных широт,
новые организмы, но ровно наоборот;
главным образом – рот.

1989

ПРИМЕЧАНИЯ ПАПОРОТНИКА

Gedenke meiner
flüstert der Staub

Peter Huchel

По положению пешки догадываешься о короле.
По полоске земли вдалеке – что находишься на корабле.
По сытым ноткам в голосе нежной подруги в трубке
– что объявился преемник: студент? хирург?
инженер? По названию станции – Единбург –
что пора выходить, что яйцу не сносить скорлупки.

В каждом из нас сидит крестьянин, специалист
по прогнозам погоды. Как то: осенний лист,
падая вниз лицом, сулит недород. Оракул
не лучше, когда в жилище входит закон в плаще:
ваши дни сочтены – судьбою или вообще
у вас их, что называется, кот наплакал.

Что-что, а примет у нас природа не отберет.
Херувим – тот может не знать, где у него перед,
где зад. Не то человек. Человеку всюду
мнится та перспектива, в которой он
пропадает из виду. И если он слышит звон,
то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду.

Поэтому лучше бесстрашие! Линия на руке,
пляска розовых цифр в троллейбусном номерке,
плюс эффект штукатурки в комнате Валтасара
подтверждают лишь то, что у судьбы, увы,
вариантов меньше, чем жертв; что вы
скорей всего кончите именно как сказала

цыганка вашей соседке, брату, сестре, жене
приятеля, а не вам. Перо скрипит в тишине,
в которой есть нечто посмертное, обратное танцам
в клубе,

настолько она оглушительна; некий анти-обстрел.
Впрочем, все это значит просто, что постарел,
что червяк устал извиваться в клюве.

Пыль садится на вещи летом, как снег зимой.
В этом – заслуга поверхности, плоскости. В ней самой
есть эта тяга вверх: к пыли и к снегу. Или
просто к небытию. И, сродни строке,
«не забывай меня» шепчет пыль руке
с тряпкой, и мокрая тряпка вбирает шепот пыли.

По силе презренья догадываешься: новые времена.
По сверканью звезды – что жалость отменена
как уступка энергии низкой температуре
либо как указанье, что самому пора
выключить лампу; что скрип пера
в тишине по бумаге – бесстрашье в миниатюре.

Внемлите же этим речам, как пению червяка,
а не как музыке сфер, рассчитанной на века.
Глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья
песня. Того, что грядет, не остановить дверным
замком. Но дурное не может произойти с дурным
человеком, и страх тавтологии – гарантия благополучья.

1988

ОБЛАКА

О, облака
Балтики летом!
Лучше вас в мире этом
я не видел пока.

Может, и в той
вы жизни клубитесь

– конь или витязь,
реже – святой.

Только Господь
вас видит с изнанки –
точно из нанки
рыхлую плоть.

То-то же я,
страхами крепок,
вижу в вас слепок
с небытия,

с жизни иной.
Путь над гранитом,
над знаменитым
мелкой волной

морем держа,
вы – изваянья
существованья
без рубежа.

Холм или храм,
профиль Толстого,
Рим, холостого
логова хлам,

тающий воск,
Старая Вена,
одновременно
айсберг и мозг,

райский анфас –
Ах, кроме ветра
нет геометра
в мире для вас!

В вас, кучевых,
перистых, беглых,
радость оседлых
и кочевых.

В вас мне ясна
рваность, бессвязность,
сумма и разность
речи и сна.

Это от вас
я научился
верить не в числа –
в чистый отказ

от правоты
веса и меры
в пользу химеры
и лепоты!

Вами творим
остров, чей образ
больше, чем глобус,
тесный двоим.

Ваши дворцы –
местности счастья
плюс самовластья
сердца творцы.

Пенный каскад
ангелов, бальных
платьев, крахмальных
крах баррикад,

брак мотылька
и гималаев,

альп, разгуляев –
о, облака

в чутком греху
небе ничейном
Балтики – чей там,
там, наверху

внемлет призыв
ваша обитель?
Кто ваш строитель,
Кто ваш Сизиф?

Кто там, вовне,
дав вам обличья,
звук из величья
вычел, зане

чудо всегда
ваше беззвучно.
Оптом, поштучно
ваши стада

движутся без
шума, как в играх
движутся, выбрав
тех, кто исчез

в горней глуши
вместо предела.
Вы – легче тела,
лучше души.

1989

ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ШМАКОВА

Извини за молчанье. Теперь
ровно год, как ты нам в киловаттах
выдал статус курей слеповатых
и глухих – в децибелах – тетерь.

Видно, глаз чтит великую сушь,
плюс от ходиков слух заложило:
умерев, как на взгляд старожила –
пассажир, ты теперь вездесущ.

Может статья, тебе, хвастуну,
резонеру, сверчку, черноусу,
ощущавшему даже страну
как безадресность, это по вкусу.

Коли так, гедонист, латинист,
в дебрях северных мерзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший, – будь беспределен,

повсеместен, почти уловим
мыслью вслух, как иной небожитель.
Не сказать «херувим, серафим»,
но – трехмерных пространств нарушитель.

Знать, теперь, недоступный узде
тяготенья, вращению блюдец
и голов, ты взаправду везде,
гастроном, критикан, себялюбец.

Значит, воздуха каждый глоток,
тучка рваная, жиденский ельник,
это – ты, однокашник, годок,
брат молочный, наперсник, подельник.

Может статься, ты вправду целей
в пляске атомов, в свалке молекул,
углерода, кристаллов, солей,
чем когда от страстей кукарекал.

Может, вправду, как пел твой собрат,
сентименты сильней без вместилищ,
и постскрипtum махровой стократ,
чем цветы театральных училищ.

Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей
как защита от мины капризной
солоней атлантических щей,
и не слаще от сходства с отчизной.

Но, как знавший чернильную спесь,
ты оттуда простишь этот храбрый
перевод твоих лядвий на смесь
астрономии с абракадаброй.

Сотрапезник, ровесник, двойник,
молний с бисером щедрый метатель,
лучших строк поводырь, проводник
просвещения, лучший читатель!

Нищий барин, исчадье кулис,
бич гостиных, паша оттоманки,
обнажавшихся роц кипарис,
пьяный пенъем великой гречанки,

– окликать тебя бестолку. Ты,
выжав сам все, что мог, из потери,
безразличен к фальцету тщеты,
и когда тебя ищут в партере.

ты бредешь, как тот дождь, стороной,
вьешься вверх струйкой пара над кофе,

треплешь парк, набегаешь волной,
на песок где-нибудь в Петергофе.

Не впервой! так разводят круги
в эмпиреях, как в недрах колодца.
Став ничем, человек – вопреки
песне хора – во всем остается.

Ты теперь на все руки мастак –
бунта листьев, падения хунты –
часть всего, заурядный тик-так;
проще – топливо каждой секунды.

Ты теперь, в худшем случае, пыль,
свою выше ценящая небыль,
чем салфетки, блюдущие стиль
твердой мебели; мы эта мебель.

Длинный путь от Уральской гряды
с прибауткою «вольному – воля»
до разреженной внешней среды,
максимально – магнитного поля!

Знать, ничто уже, цепью гремя
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.

21-е авг. 1989 г.